

Глеб Иванович Успенский

Не воскрес



НОВЫЕ времена, НОВЫЕ заботы

Глеб Успенский

Не воскрес

«Public Domain»

1873

Успенский Г. И.

Не воскрес / Г. И. Успенский — «Public Domain»,
1873 — (Новые времена, новые заботы)

«... Рассказ явился отражением впечатлений Успенского от поездки на места военных действий во время сербо-турецкой войны 1876 года. <... > Сербо-турецкая война 1876 года была одним из звеньев многовековой национально-освободительной борьбы южнославянских народов Балканского полуострова против турецкого ига. Успенский, как и вся передовая часть русского общества, сочувствовал борьбе южного славянства за свою независимость. Он относился с большим интересом и к русскому добровольческому движению, которое отражало сочувствие широких народных масс России освободительным стремлениям народов Балканского полуострова. ...»

© Успенский Г. И., 1873

© Public Domain, 1873

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Глеб Иванович Успенский

Не воскрес

(Из разговоров про войну)

I

...Поезд, увозивший в Россию русских добровольцев, отошел от Базиаша на Пешт часу в десятом вечера; на дворе было темно, и шел проливной дождь; не было поэтому никакой возможности облегчить грусть-тоску чудными видами, открывающимися по обеим сторонам дороги, на Дунай, на горы, – тьма была кромешная... Волей-неволей приходилось убивать время в разговорах; но висевшее над всеми соотечественниками сознание непреложности факта возвращения на родину отбивало охоту от веселой болтовни... Всякий знал, что... «все равно» приедем в Россию. Что-то очень близко подходящее к тоске гимназиста, возвращающегося в гимназию после каникул, тяготило и возвращавшихся на родину добровольцев... Такие ли были они, когда ехали на войну! Новизна положения делала тогда всех смелыми до дерзости, веселыми до... ну хоть до безобразия, храбрыми до зверства... Геройство, храбрость, мужество, подвиги великодушия, жертвы – все это трогало сердце и воображение каждого... а теперь – поди-ко вот опять в тот самый департамент обвиняков, из которого с такою радостью, месяца два-три тому назад, пошел на смерть... Изволь-ка теперь опять пожаловать в лоно супружеского счастья, к пяти малолетним соотечественникам... Поди-ко теперь опять поклонись такому-то и сякому-то и попроси его, чтоб он опять принял тебя на низший (и то дай бог) оклад!.. Русская земля припоминалась всем в виде какого-то недоразумения, чего-то не имеющего результатов, но ужасно трудного, – и вот почему поезд, наполненный добровольцами, был угрюм и скучен... Не веселило его также и все то, что он во время сербского каникулярного времени узнал сам о себе... Прежде он думал, что он, русский человек, – жертва интриг, несправедливостей, притеснений, жертва людской неблагодарности, жадности, бедности, и был твердо уверен, что освободись он хоть на одну минуту от всех вышеупомянутых бед, так сейчас же, сию минуту, все увидят, как он добр, благороден, великодушен, вежлив, щедр, непоколебим и честен... А теперь вот после этого долгожданного отдыха он чувствует что-то совсем другое... «Был дан тебе отдых или нет?» – вопрошает его совесть. «Был!» – должен ответить он. «Как же ты воспользовался им?..» – «Безобразно!» – «Свинья!» – говорит совесть и продолжает: – «Дали тебе денег?» – «Дали». – «Много ли?» – «Очень довольно». – «Послал ли ты жене, как обещал?» – «Н-нет...» – «Куда ж ты их девал?..» – «Так...» – «Нет, – пристает совесть: – ты говори, куда именно: это – деньги кровные, это – копейки, гроши, данные на святое дело. Куда ты их девал?» – «Пропил...» – «Еще?» – «Ну... там...» – «Свинья!» – еще раз утверждает совесть и опять продолжает: – «Еще куда? не все ж ты «там»... оставил?..» – «Как можно! – почти вслух восклицает унылый доброволец и хочет высчитать по пальцам... – Сапоги... – припоминает он с удовольствием. – Шутка сказать – три дуката!.. Потом? Чай, сахар, табак... ну, это вздор, пустяки... а еще что, куда же я дел?..» И увы, кроме сапог, капитальных приобретений никаких нет возможности припомнить... «Неужели я все это там?..» – «Свинья!» – заключает совесть.

Унылый доброволец выпивает из горлышка бутылки несколько глотков вина и, освежившись немного, решает, что прошло, мол, – не воротишь... Но совесть не молчит и тотчас же вновь затягивает песню...

«Ты зачем ехал-то сюда? За что ты деньги-то взял?..» – «Давали! Я брал... За славян!» – «За что?» – «За... в пользу славян...» – «Это ты в пользу славян дебоширничал-то?» Ничего

не может ответить доброволец, но с глубоким огорчением чувствует, что хорошо бы было, если бы его убили там... «Велика важность!» – говорит совесть. «И вправду», – решает доброволец со вздохом... и молча смотрит в темное окно, по которому льют струи проливного дождя...

– А хорошо, право хорошо жилось в Сербии!.. – произносит кто-то со вздохом...

Унылый доброволец под влиянием этих слов начинает припоминать что-то действительно хорошее, приятное... но совесть и тут осаживает его... «Смотри, смотри... вот в Россию приедешь, так там, брат...» И мечтания немедленно прекращаются... «Выпей, брат, и смотри в темное окно, да уж молчи!» – сжалившись, советует совесть. Доброволец действительно тотчас же выпивает и твердо решается ни о чем не думать. «Все одно, – решает он, – приедешь!» Некоторое время опыт не думать удается ему, то есть некоторое время он ровно ни о чем не думает, но скоро из стука колес по рельсам, из звона цепей, сцепляющих вагоны, начинается довольно явственно выделяться как бы шопот чей-то, ежеминутно повторяющий что-то вроде: «свинь-свинь-свинь...»

И доброволец волей-неволей опять начинает неприятную беседу с своей совестью.

В том отделении вагона, где пришлось сидеть пишущему эти строки, было бы, пожалуй, благодаря присутствию необычайно унылого человека, еще скучней и тоскливей, если бы присутствие двух вполне счастливых соотечественников не парализовало тоску и уныние, распространявшиеся от унылого пассажира.

Эти двое были веселы и счастливы, каждый по-своему: один только вчера выиграл в карты порядочный куш и, ухватив его, на всех парах рвался в Вену, в веселое место, расправить кости, попить, погулять на все руки, на все деньги... Его словно лихорадка какая трясла всю дорогу: так и тянуло – скорей, скорей, к веселому венскому разгулу; заснуть он не мог и хотя закрывал глаза и откидывал голову к спинке, но видно было, что он не спал, а грезил и волновался предстоящими удовольствиями, поминутно прерывая свои попытки заснуть насвистыванием мотивов из Оффенбаха... Другой довольный пассажир был доволен покойно, солидно, основательно; это был военный, не менее майора чином, плотный, здоровый человек; он возвращался к семье, был доволен, что попадает к рождеству и привезет с собою, кроме полного здоровья (ранен он не был), еще и три сербских ордена. Еще на станции, в Базиаше, объяснив всем желавшим с ним разговоривать причину своего благополучия, что вот, мол, еду к рождеству, слава богу здоров, ордена получил все и т. д., он уж не входил ни в какие другие разговоры, а просто распространял вокруг себя своим здоровым и довольным лицом покой и благополучие... Войдя в вагон, этот счастливый человек уложил по местам свои вещи, плотно и удобно сел и, поморгав немного глазами, стал их закрывать с таким предвкушением непробудного, детски-покойного сна, что даже и неугомонный любитель венских удовольствий поддался было снотворному влиянию своего соседа и пробовал дремать... Эти двое довольных, счастливых смягчали несколько то тягостное впечатление, которое производил третий, необычайно унылый пассажир.

Он был точно потерянный: исхудалый, щеки ввалились, нос вытянулся, взгляд казался пугливым, даже вполне испуганным, костюм плохонький, холодный не по погоде и надетый кое-как. Не желая спать, я поневоле должен был довольно часто встречаться глазами, с этим унылым человеком, тем более что он сидел как раз против меня, и только после многих часов езды мог признать в нем человека, который мне отчасти знаком, которого я несколько раз в жизни уже видал, хотя и с большими, большими промежутками. Было ему теперь лет тридцать пять или около того, но не больше; несколько лет тому назад я встречал его за границей в разных городах, и главным образом в кружках русской заграничной молодежи. Долбежников (такая фамилия была у унылого пассажира) хоть и вращался в тех же кружках, но был как-то чужд всем им и всем и каждому из лиц, их составлявших. Какая-то печать уныния и тогда уже лежала на его нездоровом, худосочном лице, и что-то гложущее его душу тяжело всегда действовало во время его посещений, всегда, впрочем, кратких, торопливых и большею частью

ненужных; придет торопливо, озабоченно, как будто хочет что-то сказать очень важное, но не может ничего, и вдруг как-то соскучится, раскиснет и уйдет. В руках его постоянно была какая-нибудь книга, читал он много, что-то писал, но никто его не расспрашивал о его работе, и вообще им мало интересовались. – «Был Долбежников!» – «Ну, что же?» – «Ничего... Ушел». Вот и все, что можно было сказать о нем в то время после каждого его посещения. А между тем нельзя было не заметить, что его что-то мучает, хотя он и не возбуждает ни в ком симпатии настолько, чтобы кто-нибудь тронулся его измученным лицом и разузнал подноготную его души, тем не менее нельзя было сомневаться в том, что он настоящим образом мучается... По некоторым отрывочным выражениям, помнившимся мне, и по характеру людей, с которыми он знался, можно было думать, что он человек убеждений крайних. Так я по крайней мере думал о нем тогда, лет пять назад, и был, признаюсь, несказанно удивлен, увидав этого самого унылого, измученного человека, месяца два тому назад, в Белграде, в костюме добровольца с длинной саблей и, что особенно поразило меня, в самом цветущем виде, без всякого подобия чему-нибудь, что бы напоминало его прежний, страдальческий вид. Долго, помню, смотрел я на него, встретив случайно в одной из белградских «кафан»¹, вместе с толпой других саблегремящих и веселых офицеров, и не мог поверить, чтобы это был Долбежников, «тот самый». Откуда этот цвет лица, этот некоторый форс, эта развязность военного, любующегося звоном своих шпор, своей саблей?.. Несомненно было, конечно, то, что все это было «напущено» на Долбежникова обществом военных, среди которых он теперь находился, но несомненно было также и то, что и сам Долбежников значительно изменился; он поглядел на меня – тогда, при встрече в кафане, – узнал, слегка кивнул с высоты величия (ясно начертанного на всем его ликовавшем лице) и тотчас присоединился к веселой компании, которая шумно расселась вокруг круглого стола, застучала ножами, солонками, стаканами и потребовала три бутылки самого лучшего неготинского... Долбежников, к удивлению моему, также стучал ножами и стаканами и, как мне казалось, даже желал показать именно мне, как человеку, знавшему его в унылом виде и в другом обществе, что вот, мол, теперь и он стал молодцом и что ему, мол, все равно, что будут думать о нем в «том», в заграничном обществе... Правда, смешноват был немного этот худощавый, длинный и все-таки болезненный человек среди румяных, громкоголосых, здоровых и сильных новых своих товарищей, но сравнительно с тем, что он был, лично мне он казался вполне переродившимся, необыкновенно поздоровевшим, расцветшим, словом – человеком, переделанным «наново». Я порадовался этому, хотя и удивился этой перемене, ввиду убеждений, которые я ему приписывал. «А! вот, – подумал я, – отчего он стонал и страдал... Ему надо было шпоры, саблю да разливанное море военной стоянки...» И, признаться, не очень радовался этой способности русского человека необычайно резко переменять свои взгляды и, глядя на пирушку Долбежникова с товарищами, невесело думал о том, что способность эта есть и не в одном Долбежникове...

...Оставив Долбежникова, под влиянием этих размышлений, пировать в кафане, я ушел и до сей минуты, то есть до встречи в вагоне на возвратном пути в Россию, не видел уж его нигде. И опять он меня тут изумил: куда девался его расцвет, его бодрый дух, бодрый вид? Что скомкало его опять в комок, скомкало в тысячу раз больше, чем он был скомкан прежде, до своего расцветания? Вид его был такой убитый, измученный, жалкий, что, повторяю, если бы не те два пассажира, которые распространяли от себя покой и жажду удовольствия, так было бы просто тяжело смотреть на человека, который, казалось, вот-вот что-нибудь над собой сделает, – так ему скверно и трудно.

Задернутый синей занавеской фонарь наполнил вагон полумраком, мешая мне, вместе с переменою, происшедшею в Долбежникове, узнать его лицо; но когда я узнал, что это именно Долбежников, то мне стало его как-то ужасно жаль и захотелось разузнать наконец, что такое

¹ *Кафана* (сербск.) – кофейня, кафе.

происходит в этом человеке, отчего он расцветает и отчего вянет. Я заговорил с ним... Он обрадовался и тотчас же сообщил мне, что он уже давно узнал меня, что он меня помнит, что он меня видал там-то и там-то, и в мельчайших подробностях припомнил те редкие минуты, когда я случайно сталкивался с ним – пять лет назад (избегая почему-то белградской встречи); припомнил тотчас же, и тоже с мельчайшими подробностями, всех прочих наших заграничных знакомых, с какой-то жадностью расспрашивал – где такой-то, что с этим, что с тем, и вдруг с каким-то страстным порывом произнес:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.